

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ*

В о п р о с № 6: «Каково соотношение северновеликорусских и южновеликорусских диалектных элементов в деловых и литературных памятниках русского литературного языка XVI и XVII вв.?»

Решение вопроса о соотношении северновеликорусских и южновеликорусских диалектных элементов в деловых и литературных памятниках русского литературного языка XVI и XVII вв. затруднено в особенности в силу двух обстоятельств. Во-первых, северно- или южновеликорусское происхождение элементов литературного языка прямолинейно выводят из современной локализации последних в русских народных говорах. Во-вторых, сквантные традиционными представлениями о запустении южновеликорусской области в XIII—XV вв. историки русского языка не только не вводят в научный оборот данные огромных рукописных фондов южновеликорусского характера, но оставляют в стороне и немногие публикации такого рода.

Вследствие первого обстоятельства, например, синтаксическую конструкцию типа *земля пахать*, известную ныне, как правило, лишь в северновеликорусской области, считали обычно северновеликорусской и генетически. Поэтому «проблески» подобной конструкции в опубликованных южновеликорусских текстах не привлекали внимания исследователей; при сложившейся точке зрения ее единичные проявления в указанных старых текстах легко относились за счет усвоения писцами норм приказного языка. Показания ранее неизвестных специалистам курских отказных книг и других рукописных источников позволяют с несомненностью считать, что конструкция типа *земля пахать* — исторически общерусская.

Опираясь на современную географию названий *изба* и *хата*, нетрудно допустить, что нашему югу в прошлом было свойственно название *хата*, а появление *избы* в южновеликорусских памятниках связано с влиянием приказного языка или с проникновением на юг северновеликорусского населения. Между тем это неверно. В многочисленных известных нам южновеликорусских актах с XVI в. до тридцатых годов XVIII в., где употребляются названия жилых построек, мы ни разу не встретили обозначения *хата*, во всеобщем употреблении исключительно *изба*. Аналогичное положение и в отношении названий *лошадь* и *конь*. Первое рассматривают как южновеликорусское, второе «прикрепляют» к нашему северу, тогда как в южновеликорусских текстах XVI—XVII вв. представлено дифференцированное употребление этих вариантов *лошадь* — тягло, а *конь* — для воина.

Некритические заключения по современным данным и о старом говоре Москвы, а поскольку московский говор явился основой русского литературного языка, эти заключения распространяются и на литературный язык в его былом состоянии. О том, насколько они сомнительны, свидетельствуют данные о неместных уроженцах в составе московского населения в конце XIX в. «Неместными уроженцами, — пишет А. Г. Рашин, — считалось все городское население, за исключением уроженцев того же уезда, где находился город. Наиболее значительно были представлены в 1897 г. неместные уроженцы среди населения столиц в Москве — 73,7% общей

* Продолжение публикации ответов на анкету, опубликованную в № 4 за 1959 г. (стр. 50—51).

численности населения»¹. При таком интенсивном пополнении Москвы неместным населением (а в дальнейшем пополнение таким путем шло не менее, если не более интенсивно) непосредственное возведение ее современной речевой культуры к XVII в. не может быть оправданным. Отсюда следует выяснение вопроса о роли в ее речевой культуре, а тем самым и в литературном языке северно- и южновеликорусских элементов нельзя строить на прямом сопоставлении современной московской речи с южновеликорусскими и северновеликорусскими говорами наших дней. Последние за три-четыре столетия, как показывают соответствующие памятники, претерпели лишь незначительные изменения, наиболее ясные в лексике, тогда как московский говор изменился весьма существенно.

Особенно ошибочно, на наш взгляд, видеть отражение еканья в написаниях *e* на месте *я* в предударном положении в письменных памятниках Подмосковья. Из написаний *e* на месте *я* еще не вытекает, что писцы отражали еканье. Ведь и в памятниках южновеликорусского происхождения реализация гласных неверхнего подъема в первом предударном слоге передается, как правило, через *e*; передача посредством буквы *я*, как и в текстах Подмосковья, — явление сравнительно редкое. «Еканье» в текстах — еще не свидетельство существования еканья в говоре, который в письме отражен. А если так, подмосковный вокализм, представленный в текстах «еканьем», не обязательно был средневеликорусским. Добавим: во многих подмосковных говорах с так называемой северновеликорусской или южновеликорусской основой вокализм достаточно далек от московского. Поэтому надо еще доказать, что московский вокализм генетически связан в большей мере с местной стихией, нежели с южно- и северновеликорусской, находившимися в процессе взаимодействия. Напротив, в элементах подмосковной речи, которые сближают ее с московской, можно усматривать результат московского влияния.

Обусловленная социально-экономической концентрацией, концентрация русских диалектов получила в говоре Москвы, как своем центральном фокусе, наиболее интенсивное воплощение. Мы не видим данных в пользу того, что основой московского говора — не в локально-генетическом, а структурном плане — явился один из средневеликорусских. Поскольку в русском национальном языке объединительные тенденции были очень сильны, характер московского — центрального — говора, по нашему мнению, определила не местная диалектная база, а та диалектная доминанта, которая сложилась в процессе взаимодействия более широких диалектных образований русского юга и севера; роль местной диалектной базы была второстепенной. В свете подобного представления находит убедительное объяснение и тот общеизвестный факт, что около Москвы полоса средневеликорусских говоров самая узкая.

При большом отставании в области изучения южновеликорусских памятников любое решение рассматриваемого вопроса на материале имеющихся публикаций будет либо неверным, либо весьма приблизительным. Основательное решение этой проблемы возможно лишь при условии включения в научный оборот огромного свежего материала из древних южновеликорусских текстов. Уже и первое вторжение в сферу данных источников вскрывает некоторые новые факты, проливающие свет на отдельные моменты интересующего нас соотношения.

Показания древних неизданных текстов южновеликорусского происхождения позволяют нам отклонить распространенное мнение о гласном *ѣ* в говоре Москвы XVII в. как гласном, представлявшем в московской речи, по звучанию в ударяемом и безударном положениях, северновеликорусское начало. В южновеликорусской области в XVII в. гласный *ѣ* испытывал в безударном положении аналогичное московскому отождествление с гласным *e*, сохраняя под ударением, как и в говоре Москвы, более закрытое, чем *e*, образование. Трактовка отражений упомянутого явления

¹ А. Г. Р а ш и н, Население России за 100 лет, М., 1956, стр. 132.

в южновеликорусской письменности как следствия воздействия на нее московского приказного языка исключается и обилием в этой письменности специфических проявлений местной речи и нередкими прямыми указаниями на то, что писцы не являлись профессионалами. Итак, по судьбе гласного *ѣ* московский говор XVII в. одинаково связан и с севером и с южновеликорусской областью. Совпадение в дальнейшем гласного *ѣ* с *е* в ударяемом положении объединяет московский говор, пожалуй, в большей мере с югом, нежели с севером.

Окончание формы род. падежа ед. числа прилагательных и местоимений *-ева, -ова*, свойственное устной литературной речи, представляется возможным выводить не обязательно из говоров северновеликорусского наречия, но, с известным основанием, — и из южновеликорусского. Огромное количество соответствующих фактов, безусловно фонетического характера, рассеянных в южновеликорусских грамотах, свидетельствует об этом со всей очевидностью.

Наконец, южновеликорусские данные XVII в. говорят о том, что отдельные лексические противопоставления, которыми пользуются для дифференциации северно- и южновеликорусского наречий, в историческом плане — мнимые. Слова *лонись* «в прошлом году», *лонской* «прошлогодний» считают лишь северновеликорусскими. Между тем, например, *лонской* попадает и в южновеликорусских текстах. Существительное *вить* «часть» или «доля» и некоторые производные от него образования квалифицируют исключительно как северновеликорусские, тогда как они известны и южновеликорусским памятникам. Материалы начала XVIII в., а можно думать, и более ранние, не оправдывают противопоставления юга и севера по синонимам *кочет* и *петух*. Противопоставление *волк* — *бирюк* также несостоятельно, потому что первое из этих слов вместе с производными бытовало и на юге, а второе, судя по данным текстов южновеликорусского происхождения, употреблялось, помимо первого, обыкновенно в качестве прозвища, означая, по всей вероятности, угрюмого человека. В XVII в. отсутствовало известное ныне различие между севером и югом по синонимам *клеть* и *пуня*: повсюду и на юге употреблялось слово *клеть*, а название *пуня*, по-видимому из белорусского языка, еще только входило в южновеликорусский обиход. Не было точно так же различия и по синонимам *волосы* — *виски*: в древних южновеликорусских источниках, притом бытового содержания, в употреблении слово *волосы*. Обращает на себя внимание отсутствие в этих источниках названия *рига*. Вместе с тем в памятниках, приуроченных к территории южновеликорусского наречия, встречаются упоминания об *овинах*.

Первостепенное значение исследования южновеликорусских памятников для успешного разрешения поставленного вопроса представляется нам очевидным.

С. И. Котков
(Москва)

*

В о п р о с № 2: «Что унаследовал русский литературный язык XIII—XIV вв. от предшествующего периода?»

Русский литературнописьменный язык периода великорусской народности, или московского периода, как обычно называют время развития русского литературного языка с XIV по XVII в., не может быть оторван при его изучении от языка предшествующей эпохи, т. е. от литературнописьменного языка древнерусской народности (киевского периода) и от языка периода феодальной раздробленности. История литературного языка в сравнении с историей народноразговорной речи должна в особенности рассматриваться в тесной и неразрывной связи с историей народа и с развитием его литературы. Поэтому периодизацию русского литературного языка необходимо строить, исходя как из фактов самого развития языка,

так и из основных этапов исторического развития русского народа, его культуры, литературы, или письменности, в широком значении этого слова. В истории древнерусского литературнописьменного языка, несомненно, громадное значение принадлежит передающейся из века в век письменной традиции. Поскольку на всем протяжении с XI по XVII в. существовала и развивалась единая письменная традиция древнерусской литературы, постольку мы наблюдаем в пределах всей этой эпохи развитие одного и того же древнерусского литературнописьменного языка. Вначале это — язык единой древнерусской народности, затем, с XIV в., — язык великорусской народности.

Единство письменной традиции проявляется заметнее всего в том, что языковые памятники, возникшие в киевский период (XI—XII вв.), сохраняются в списках более позднего времени, относящихся к XIV—XVII вв. и составленных на территории Северо-Восточной Московской Руси.

Так, «Повесть временных лет», созданная в XI — начале XII в., дошла до нас в виде «Лаврентьевской летописи», датированной 1377 г. и переписанной в Суздальском княжестве. Другие списки этого памятника еще моложе и не восходят ко времени ранее XV в. Единственный список «Слова о полку Игореве», имевшийся в руках издателей первого издания, относился, по всей вероятности, к XVI в. Подобным же образом обстоит дело и в отношении «Киево-печерского патерика», «Моления» Даниила Заточника, «Паломничества» Даниила игумена и громадного большинства известных нам оригинальных литературных произведений древней Руси киевского периода. Деловая письменность в значительной своей части также представлена лишь более поздними списками. Не только юридические памятники Киевской Руси («Русская Правда», «Устав» Ярослава Мудрого и другие), но и многие грамоты XII—XIV вв. мы читаем сейчас не в подлинниках, а в копиях XV, XVI и даже XVII вв.

Переводные произведения древнерусской письменности киевского периода не представляют исключения и тоже могут изучаться только по спискам, не восходящим ко времени ранее XIV—XV вв. Так обстоит дело и с «Александрией», и с «Историей Иудейской войны» Иосифа Флавия, и с «Космографией» Космы Индикоплова, и с книгой «Есфирь», и с переводом «Иосиппона», и с др. Все эти памятники читались, переписывались, распространялись на Руси в течение всего донационального периода, превышавшего в общем 600—700 лет.

Естественно, что текст произведений в какой-то степени изменялся и приспособлялся к языковым требованиям последующих эпох. Однако несмотря на все языковые подновления, отражавшиеся в лексике, морфологии и фонетике списка, первоначальная исконная основа памятника сохранялась и воспринималась переписчиками и читателями как живая и понятная. Пристальный историко-лингвистический анализ более позднего списка всегда дает возможность распознать за ним языковую основу протографа. Вскрыть и по возможности восстановить эту первоначальную языковую основу — важнейшая задача филолога, издающего и изучающего текст древнерусского письменного памятника киевского периода по более поздним спискам.

Поскольку первоначальная языковая основа переписываемых и распространяемых в более позднее время памятников продолжала активно восприниматься, постольку она могла служить образцом для следования и подражания ей. Наиболее яркий пример этого мы находим в «Задонщине», где отразились и образы, и фразеология «Слова о полку Игореве». Само собою разумеется, что при этом нельзя не принимать во внимание тех изменений в языке, которые произошли за время между появлением обоих памятников. В результате их в ряде случаев возникало непонимание и искажение текста со стороны позднейших подражателей и переписчиков.

Как правильно было указано акад. В. В. Виноградовым, одним из основных факторов, обусловивших развитие древнерусского литературно-

письменного языка, был старославянский фонд, органически слившийся с древнерусским языком еще в киевский период. Этот старославянский фонд содействовал единству древнерусского литературнописьменного языка, предохраняя его от расчленения на феодально-областные диалекты². Несомненно, что этот древнерусский литературный язык, сложившийся еще в киевскую эпоху и лишь несколько видоизменившийся по областям в период феодальной раздробленности под воздействием территориальных диалектов, унаследовала и Московская Русь в XIV в.³

Наряду со старославянским фондом, значительно усиленным так называемым «вторым южнославянским влиянием» в XV в., сохранности и единству русского литературнописьменного языка в московский период широко способствовал сложившийся на русской почве литературный этикет, своеобразные устойчивые словосочетания и формулы, приспособленные для выражения общеобязательных и общепринятых понятий и представлений феодального строя. Такие словесные застывшие формулы этикета сложились еще в киевскую эпоху и стали по-своему характерными и для стилей исторического или житийного повествования, и для стиля нравоучительного проповедничества, и для юридических актов, и для всех стилей и жанров древнерусского литературного языка. Устойчивый литературный этикет лишь с отдельными незначительными и постепенно развивающимися отклонениями и видоизменениями сохранялся на всем протяжении развития литературнописьменного языка и в московский период.

Что касается грамматического строя, то и он в письменной форме языка оказывался значительно более устойчивым, чем в устной разговорной речи. Так, вплоть до XVII в. в большинстве официальных письменных жанров продолжают употребляться основные грамматические категории и формы, свойственные еще древнерусскому языку киевского периода и уже исчезнувшие или исчезающие из живой разговорной речи.

Названные категории и формы употреблялись, правда, в московский период уже непоследовательно и не всегда правильно, однако, как показывает, например, исследование С. Д. Никифорова, все эти языковые явления в письменных памятниках второй половины XVI в. нужно признать обычными⁴. Хотя в устной речи изменения грамматического строя, повлекшие за собою исчезновение вышеперечисленных форм, начали происходить уже в XII—XIII вв., в письменную разновидность языка они проникают в более позднюю пору и лишь эпизодически и случайно, отражая живую речь пишущего. Отчасти и устное словоупотребление и произношение грамотных людей Московской Руси, как и орфографические и стилистические нормы письменного языка, определялись традицией, «научением книжным», и в какой-то степени поддерживались богослужением и литургическим пением на церковнославянском языке⁵.

Таким образом, следует признать несомненным, что один и тот же древнерусский литературнописьменный язык продолжал существовать и развиваться в продолжение всего того времени, пока жила и развивалась древнерусская литература. Конец указанного периода может быть отнесен примерно ко второй половине XVII в., откуда приблизительно, по известному определению В. И. Ленина, начинается «новый период» истории России — период, когда складываются предпосылки будущего формирования русской нации и национального русского языка.

Н. А. Мещерский
(Петрозаводск)

² См. В. В. Виноградов, Великий русский язык, М., 1945, стр. 42.

³ Ср. В. Д. Левин, Краткий очерк истории русского литературного языка, М., 1958, стр. 54.

⁴ С. Д. Никифоров, Глагол, его категории и формы в русской письменности второй половины XVI века, М., 1952.

⁵ См. Г. И. Геровский, О специфике литературного двуязычия у восточных славян, ВЯ, 1959, № 3, стр. 86—88.